Уйти по воде

Автор:
Нина Федорова

Уйти по воде

Нина Федорова

Улица Чехова

Уникальный для русской литературы по теме и пережитому опыту роман Нины Федоровой раскрывает реальность, для сторонних наблюдателей обычно недоступную. Перед нами жизнь внутри Церкви, с «искушениями», «послушаниями», «скорбями» и постным майонезом, помноженная на судьбу одной молодой души, одной героини, отчаянно ищущей выход из лабиринта запретов: джинсы не носить, Новый год не отмечать, с мальчиками не встречаться… Но любовь приходит сама, не спросив разрешения духовного отца, – она забирает у Христова воина меч и вручает леденец в форме сердечка. Воин становится просто девушкой, растерянной, страдающей и счастливой одновременно: самый дорогой для нее человек – невоцерковленный, «невер», тот, который ничего не боится… Или просто его никогда не пугали.

Кто же победит, кто сильнее, кто настоящий – Бог-Страх или Бог-Любовь?..

Нина Федорова

Уйти по воде

…Не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос, все же вы – братья; и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах; и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник – Христос. Больший из вас да будет вам слуга: ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится.

Мф. 23:8-12

Мы, православные, в каком-то смысле родом из Средневековья. Да, Средневековье создало свою дивную культуру. Но в этой культуре не было места для ребенка.

А. Кураев

Часть первая

Житие святых

С нами Бог

I

Осенью стало немного легче.

После того как она сожгла акварель с тремя лилиями.

Конечно, это был полный бред – решить, что рисунок просто заговорила Арина Георгиевна, чтобы Кате было плохо, и вот теперь ей плохо и все никак не проходит: эта жизнь не своей жизнью, или как там еще это назвать, в общем, какая-то помешанность, одержимость, Бог знает что.

Но рисунок она порвала на мелкие кусочки и сожгла в старой пепельнице, которую специально отыскала на антресолях (папа раньше курил), и даже, смеясь про себя, развеяла с балкона пепел, и после этого обряда ее действительно стало отпускать.

Мама, конечно, не раз говорила, что на людей, которые регулярно причащаются, сглазы и заговоры не действуют, но у мамы слова расходились с делами: ее страха перед Ариной Георгиевной, великого и необъяснимого, не замечать было нельзя.

Катя, хоть еще и совсем маленькая, чувствовала, как напрягались мама и бабушка, когда она проходила мимо забора Арины Георгиевны, как зорко они следили за Катей, сразу одергивали ее, и от этого становилось еще интересней пройти мимо, совсем близко, чтобы даже дотронуться до увитой плющом заборной сетки и сразу услышать нервно-напряженный окрик: «Катя, иди сюда!» И дальше, уже тише: «Не ходи там, поняла?»

Но на вопросы – почему? – никто не хотел отвечать.

Однажды мама уехала в Москву, а Катя осталась на даче с бабушкой, они сидели на диване и читали книжку. Бабушка вдруг поднялась и стала выглядывать в окно, прячась за занавеску, чтобы ее с улицы не было видно, и крепко держала возле себя Катю за руку, не давая ей вскарабкаться на подоконник, посмотреть – что там.

А там, на улице, возле калитки, стояла Арина Георгиевна и разбрасывала какие-то желуди, время от времени посматривая на окна и шевеля губами. Бабушка велела протянуть вместе с ней руки к окну и, сжимая и разжимая кулаки, повторять: «Черное тело, твое дело: что желаешь нам – возьми себе!»

Катя стояла рядом с бабушкой, повторяя за ней странный стишок, бабушка потом объяснила, что это не стишок, а заклинание, ему ее научила женщина, которая отдыхала вместе с ней прошлым летом в санатории, и заклинание нужно повторять и делать так руками, когда кто-то хочет навредить.

Когда Арина Георгиевна ушла, бабушка подавила ногой все разбросанные у калитки желуди и велела Кате тоже наступить. Катя потом взахлеб рассказывала об этом маме, как они делали руками, и про «черное тело», и про желуди, но мама ее не слушала, все вопросы пропускала мимо ушей, только на один – почему Арина Георгиевна хочет нам навредить? – ответила коротко:

– Она не любит женщин.

Арина Георгиевна кое-что «умела», так объяснила бабушка, уже вечером, перед сном, и когда Катя спросила: «Она колдунья, да?», бабушка ответила, что не совсем, но навредить может. Особенно девочкам.

И больше она ничего не хотела говорить.

Много лет Катю мучили эти вопросы, и даже потом, когда она узнала, в чем дело, и когда они были уже православными, когда бабушка уже не ездила на дачу, когда Арина Георгиевна перестала вредить, даже вроде бы «покаялась» и помирилась с мамой, всё равно было немного жутко.

Потому что странности не исчезали.

Мама вообще боялась что-либо брать от Арины Георгиевны, хотя та всегда щедро делилась – то помидорами из парника, то солеными грибами, то клубникой, но эту еду детям не давали, родители ели сами, перекрестив и прочитав «Да воскреснет Бог…». А в дачном иконостасе появилась маленькая икона святых Киприана и Устинии, на обратной стороне которой была молитва от колдовства.

А однажды случилось совсем странное. Было очень жарко, мама с Ильей и Аней ушли в лес, Катя осталась дома одна. Она любила в такую жару читать или рисовать в прохладной комнате, единственное, что ее вынуждало выходить из укрытия, – желание добыть конфет. Конфеты мама прятала в летнем сарае, в большой жестяной коробке из-под чая, тайник Катя обнаружила быстро – пока мама не догадалась и не перепрятала, можно было пользоваться.

Во время очередной вылазки за конфетами ее подозвала через забор Арина Георгиевна, спросила, почему так тихо. Катя подошла, ответила, что все ушли, она сейчас одна.

– Мама твоя говорит, что ты хорошо рисуешь, покажешь мне что-нибудь?

Показывать было нечего – все свои рисунки Катя недавно отвезла в Москву, когда ездили в храм на Петра и Павла, нашлась только маленькая акварель с тремя лилиями – еще неоконченная. Арина Георгиевна взяла рисунок и стала водить по нему пальцем. Она что-то спрашивала, давно ли Катя рисует, где училась и сложно ли рисовать акварелью. Катя отвечала, что рисовать любит с

детства, даже одно время ходила заниматься в студию (про иконопись она сказать не решилась), но Арина Георгиевна не слушала – шевелила губами, водила по рисунку пальцем, Катя смотрела с недоумением: всё это было как-то странно.

Рисунок так и остался почему-то незаконченным и почти шесть лет пролежал у Кати в шкафу, время от времени попадаясь ей на глаза при очередной генеральной уборке.

А потом, через несколько лет, не зная уже, что думать, не понимая, почему так все сложилось в ее жизни, от отчаяния и безысходности она нашла его и сожгла в пепельнице, смеясь над собой.

II

Православная христианка должна любить православную жизнь. Но Катя православную жизнь не любила, хотя никогда не признавалась в этом даже самой себе. Она не любила ужасно – службы, молитвы, исповедоваться отцу Митрофану, бороться со страстями и вообще идти тернистым путем.

Страстей по большому счету Катя в себе обнаруживала две – к чтению и сладкому. И та и другая владели ею безраздельно и постоянно заставляли согрешать, потому что и книги, и сладкое она чаще брала без разрешения и тайком. Таким образом, пагубные страсти ввергали ее еще и в непослушание, ложь и тайноядение. Она знала, что на самом деле все грехи связаны между собой и непременно один грех влечет за собой другой: у нее под прозрачным стеклом на письменном столе даже лежала назидательная картинка на эту тему. На картинке был нарисован блестящий серый змей (по-православному «змий»), свернувшийся в кольцо и схвативший себя пастью за хвост, а по всему туловищу змия были равномерно расположены рамочки с восемью смертными грехами. От рамочек шли стрелочки с подписями, как из смертного греха вытекает другой, поменьше, и среди них было много интересного, например, мшелоимство или окамененное нечувствие, которое, кстати, проистекало от гордости и лени. Лень тоже была Катиной страстью, даже пороком – отдельно на картинке была нарисована схема, на которой наглядно было показано, как прилог развивается в помысел, помысел в поступок, поступок в порок, а порок в

страсть. Часто, отвлекаясь от уроков, Катя разглядывала картинку со змием и размышляла, какие грехи она уже совершила, а какие пока нет, где у нее страсть и порок, а где только пока помысел или поступок. Картинка была неоценимым подспорьем при подготовке к исповеди, к которой Катя всегда готовилась тщательно: исповедоваться было очень страшно, ведь ее духовником был сам отец Митрофан.

Отца Митрофана она ужасно боялась. Впрочем, его боялись все – и старший брат Митя, и мама, и папа, и вообще, кажется, все прихожане. Отец Митрофан был огромен и могуч, с черной, разбойничьей какой-то, всегда чуть всклокоченной бородой и густыми длинными усами, из-под которых показывались в быстрой улыбке белоснежные зубы («людоедские» – моментально пробегала у Кати кощунственная мысль и тут же с ужасом изгонялась). У отца Митрофана был мощный и удивительно красивый голос, пронизывающий взгляд больших черных глаз, богатырские плечи и крепкие кулаки. Возле него даже рослые мужчины почему-то выглядели хилыми, и остальные батюшки по сравнению с ним производили какое-то несолидное впечатление, а любое помещение казалось слишком маленьким для него – только в просторном храме он и смотрелся в самый раз. Когда он возглашал в алтаре, даже стены храма как будто дрожали от мощного голоса. Катя рядом с ним всегда чувствовала себя крохотной песчинкой перед черной скалой, и все ее мысли и чувства начинали казаться ей мелкими, ничтожными да еще и почему-то постыдными, и сразу вполне реальными становились слова из псалма «язык мой прильпе к гортани моему».

Когда Катина семья пришла к Богу, жизнь сразу и резко изменилась. Чтобы стать настоящими православными христианами, нужно было отвергнуть все прежнее – светское и греховное, покаяться и начать новую жизнь. Тем более что прежняя привычная жизнь все равно рухнула вместе с безбожным СССР, оставалось искать спасения только в Боге, иначе в начинающемся безумии было не выжить. Сначала продали телевизор – «бесовский ящик», праздное и ненужное развлечение. Лучше в свободное время в тишине подумать о душе и почитать душеполезные книги. Газеты перестали выписывать по той же причине – зачем их читать, узнавать сплети и суетные новости. К тому же в газетах и телевизоре стало появляться много гадости, всюду был разврат, пошлость, грех. Мама раздарила большую часть библиотеки, которую всю жизнь собирала, оставила только нескольких негреховных писателей. Теперь она сняла серьги и все остальные украшения, кроме обручального кольца, перестала краситься, купила длинную юбку в пол и решила отпускать волосы, как и полагается православной женщине. Папа бросил курить и смотреть футбол, стал растить бороду и читать Святых Отцов. Все атрибуты прежней жизни были отправлены

на антресоли – и украшения, и косметика, и мамины брюки, и пепельница, и даже некоторые книги – тоже греховные, но мама с ними почему-то не могла совсем расстаться, просто спрятала. Катю забрали с хореографии, потому что Святые Отцы писали «где пляска, там и дьявол». Мите тоже запретили дзюдо – не нужны эти восточные единоборства православному мальчику.

Каждые выходные теперь ходили в храм: вечером в субботу – на всенощную, утром в воскресенье – на литургию. Каждый день утром и вечером молились: читали утреннее и вечернее правило. Стали поститься – среду, четверг, пятницу и субботу, потому что среда и пятница всегда были постными днями, а четверг и суббота входили в те три постных дня, которые полагается соблюдать перед причастием. Кроме того, стали соблюдать и все четыре православных поста. Перед сном мама вместо светских книжек читала теперь Мите и Кате «Житие преподобного Сергия Радонежского» и грустную книжку «Сын Человеческий» (переложение Евангелия, которое написал отец Александр Мень).

Родители перестали общаться с неправославными друзьями, зато появилось много православных знакомых. С тетей Зиной и тетей Наташей мама подружилась на конференции. Еще до того как окончательно стать православной, мама постоянно ездила на какие-то полуподпольные конференции, привозила оттуда фотографии расстрелянной царской семьи, взорванного храма Христа Спасителя, а еще толстые стопки листов с черной широкой каймой с одной стороны – отксеренные самиздатовские книги. Папа обрезал черную кайму широким ножом, сшивал листы, делал коленкоровые переплеты, снимая обложки со своих старых институтских тетрадей. Катя заглядывала маме через плечо в плохо пропечатанный текст на как будто грязных, запачканных черной пылью страницах – такие «ненастоящие» книги ей не нравились, она любила цветные картинки и красивые обложки.

После очередной конференции мама стала много рассказывать про новую знакомую, тетю Зину, восхищалась – тетя Зина ходила в храм давно, была воцерковлена с детства, писала иконы, муж ее был первым помощником старосты, у нее даже был духовник, какой-то отец Маврикий, и своя община. Однажды мама даже туда поехала вместе с Катей – в совсем маленький старый храм. Служба уже кончилась, мама приложила Катю к иконе Богородицы, которая называлась чудотворной, а потом они пошли гулять в парк вместе с тетей Зиной, Дашей и Лешей.

Тетя Зина была худая, строгая и степенная, в черной длинной юбке, сером широком свитере и темно-синем платке, который она не сняла, когда из храма вышли на улицу, а только приспустила с головы, так что стало немного видно гладко зачесанные и собранные в пучок волосы. Ее дети – Даша и Леша – были на нее похожи, особенно Даша: тоже в длинной юбке и платке, тоненькая и строгая. Леша был немножко другой – хотя тоже худой, с длинными постриженными в кружок волосами и обвязанной вокруг головы тонкой узорчатой ленточкой он был похож на какого-то древнерусского мальчика, но все-таки он бегал и скакал, и пока мама с тетей Зиной сидели на лавочке и разговаривали, все время подбивал Катю то залезть на дерево, то отковырять мозаичные камешки из неработающего фонтана. Катя бы непременно соблазнилась, но немного робела перед Дашей, потому что Даша гуляла степенно и баловством не интересовалась, только чуть-чуть порисовала с Катей мелками на асфальте. Потом Даша похвасталась, что скоро будет петь на клиросе, уже ходит в младшую группу общинного кружка по церковному пению, а еще она иногда помогает подавать запивочку в храме.

В тете Зине, Леше и Даше была какая-то другая жизнь. Катя еще не знала ни про клирос, ни про запивочку, и уж тем более не подозревала, что совсем скоро у нее тоже появится свой храм и духовник.

Но духовник появился – через другую мамину знакомую по конференции, тетю Наташу. Она была маленькая, веселая и только воцерковлялась, а ее муж – строгий, высокий, с худым суровым лицом – уже десять лет ходил в храм, к отцу Митрофану, своему духовнику. Позвал и Катиных родителей – отцу Митрофану только что дали восстанавливать храм, бывший при советской власти складом, можно было пойти поработать, помочь, а заодно и приглядеться.

Вскоре, когда полы были отмыты, сооружен фанерный иконостас и проведено электричество, в храме совершили малый чин освящения. На стенах зияли дыры от отвалившейся штукатурки, под ногами скрипели и перекатывались камешки от разбитых плит; икон и подсвечников почти не было, Царские врата пока заменяла натянутая на веревке шторка, а вместо паникадила с потолка свешивалась одинокая лампочка на длинном шнуре. Но народу пришло так много, что Катя вместе с другими детьми стояла на сбитых ступенях солеи, и огромный, мощный и полный сил отец Митрофан, довольно улыбаясь, вышел на выщербленный амвон говорить первую в этом храме проповедь.

III

На Рождество в гимназии устроили первый приходской концерт. Папы помогли соорудить в самом большом классе сцену, притащили стулья для зрителей, мамы украсили стены мишурой и гирляндами. Где-то добыли большую, под потолок, настоящую елку и нарядили ее принесенными из дома игрушками.

В соседнем классе Лидия Петровна с кучей бумаг в руках давала последние указания ученикам – они должны были петь колядки и читать стихи. Кате и Соне поручили вместе рассказывать стихотворение «Рождественская звезда», правда, только до середины, оно большое. Катя учила его две недели и выучила хорошо, но Лидия Петровна велела повторять, и они отошли к окну, повторяли, почти не глядя в отпечатанный на машинке бледный текст на тонких листочках. Катя время от времени выглядывала в коридор – пришел ли отец Митрофан? Тогда бы сразу же начался концерт… Но отец Митрофан почему-то опаздывал. Зашла мама, поправила Кате белые банты в косичках, перекрестила ее и ушла в «зал». Катя снова выглянула в коридор.

– Восста-а-а-а-ни-те-е-е-е! – вдруг загремело на всю школу.

Все вздрогнули, замерли. По коридору, воздев руки, стремительно шел отец Митрофан, рукава его рясы развевались и летели за ним, как черные крылья. И тут уже все выдохнули, облегченно засмеялись – наш батюшка такой, может и пошутить!

Он улыбался, довольный, подмигнул – Кате? Или еще кому-то? Она испуганно спряталась обратно за дверь.

– Ро-жде-ство Тво-е, Хри-сте Бо-о-же-е на-аш… – затянул мощный голос, как будто начал мерно и гулко бить огромный колокол, и все подхватили, разом поднявшись.

Лидия Петровна быстро всех построила, напомнила, кто в каком порядке выступает. Зрители уже расселись – на почетном месте возвышался отец Митрофан, возле него, почтительно соблюдая дистанцию в два пустых стула с каждой стороны, разместились все остальные, ближе – директор и учителя, дальше – родители.

Катя с Соней поднялись на сцену, держась за руки для храбрости, Катя старалась не смотреть в зал. Но все равно пришлось поднять голову – Лидия Петровна строго-настрого запретила бубнить, глядя в пол.

– Борис Леонидович Пастернак. «Рождественская звезда», – объявила откуда-то Лидия Петровна.

– Стояла зима. Дул ветер из степи, – начала Катя в наступившей вдруг тишине, собственный голос теперь казался почему-то незнакомым и неприятно дрожал. – И холодно было Младенцу в вертепе на склоне холма…

Она увидела вдруг, что прямо на нее смотрит отец Митрофан. Дыхание перехватило. И тут он опять подмигнул. Или показалось? Хорошо, что дальше вступала Соня:

– Его согревало дыханье вола. Домашние звери стояли в пещере…

Хлопали им громко и радостно, все улыбались, а отец Митрофан хлопал широко, необычно – разводил руки, как будто лепил снежок и собирался кинуть его на сцену.

Домой они с мамой шли по свежему похрустывающему снегу – весь вечер мело, а потом снег прекратился и сильно похолодало. Морозный воздух заклеивал нос, Катя терла его варежкой. В другой руке она несла подарок в блестящем пакете – пряник в виде елочки и маленькую бумажную икону Рождества.

– Чудо Божие! – говорила мама. – Какое же счастье, что ты не в этом «обезьяньем питомнике»! Сколько же нам Бог всего посылает! Сейчас придем, лампадку зажжем, помолимся, Бога поблагодарим.

«Обезьяньим питомником» отец Митрофан называл обычную школу, всегда говорил в проповедях, что детей там калечат, поэтому первым делом было решено создать свою гимназию, пока только начальные классы, но все равно – оазис в этом развратном мире, который катился в ад: здесь учились только приходские дети, а учили их приходские учителя. Для благого дела нашлось и помещение – храму вернули одно из отнятых после революции зданий, в котором при советской власти был детский сад. Утром все классы собирались в холле, где висели иконы (иконы, впрочем, были и в каждом классе, но в холле стоял

еще аналой и подсвечник). Там все вместе пели «Царю Небесный», а после уроков собирались, чтобы пропеть благодарственное «Достойно есть». Закон Божий вел сам отец Митрофан: всех детей собирали в самом большом классе, рассаживали в кружок, а он садился в середину, разъяснял библейские сюжеты и евангельские притчи, интересно рассказывал, как устроен храм, из чего состоит священническое облачение, какие бывают церковные праздники, что такое чины ангельские, как причисляют к лику святых.

Но вскоре оказалось, что милость Божию – учебу в такой школе – еще надо заслужить.

Началось все с дачи. Там у Кати были подруги – Аля и Маша. На даче Катя в первый же день, как приехала, собрала своих подруг в секретном шалаше и рассказала страшную тайну про Антихриста.

Они дружили с самого раннего детства, все лето играли, катались на велосипедах, выясняли отношения с мальчишками с соседней улицы. За Алю Катя один раз серьезно подралась с главарем врагов – отбила из плена, Маша как-то отмывала Катю под пожарным краном, когда мальчишки столкнули ее в канаву и запихнули строительной глины за шиворот. Катя убегала от них через забор и порвала шорты, а у Маши были точно такие же, и она отдала Кате свои, чтобы бабушка ее не ругала.

Поэтому лучших друзей необходимо было предупредить – что Антихрист придет совсем скоро, что уже упала звезда Полынь – Чернобыль – и отравила воду, и скоро всем будут ставить печати на лоб и на правую руку, но принимать их нельзя!

Надо потерпеть всего три года, и тогда точно будешь в Царствии Небесном.

Но уже в тот же день, после обеда, мама не дала Кате сразу убежать к друзьям, а позвала в комнату – нужно было поговорить. Оказалось, что на последнем родительском собрании в школе предупредили: детей надо ограждать от мира, потому что оазис создан не для того, чтобы превращать его в притон. С мирскими детьми общаться нельзя. Катя ужасно расстроилась и даже собралась плакать, но мама утешила – ладно, этим летом еще можно играть, но меньше и не в пост – нельзя все время проводить жизнь в праздности и развлечениях. Надо думать и о душе.

Так дача стала больным местом в деле спасения.

Раньше все соседи дружили. Если кто-то затевал пироги, то обязательно делился со всеми, по вечерам взрослые собирались вместе у кого-нибудь смотреть телевизор, пили чай, смеялись и разговаривали на веранде, разрешая детям бегать и играть допоздна. Иногда Катю отпускали с Алиными родителями на пикник или на озеро, а Машины родители затевали целые «вечера»: дядя Лева был физик, ученый, кажется, знал все на свете, интересно рассказывал всякие истории, показывал опыты и задавал мудреные задачки, а тетя Света читала вслух интересные книги, и все пили чай, сидя за круглым столом под большим уютным абажуром с кистями.

Теперь же Катины родители перестали печь пироги и ходить в гости – смотреть «бесовский ящик» и проводить время в праздных разговорах. В Петров пост Катя больше не ходила на «вечера», потому что к чаю подавали конфеты и пирожные, а их в пост нельзя, и не участвовала в спектаклях, которые устраивали дети под руководством Алиной бабушки для всех соседских родителей, потому что театр – это лицедейство и грех. Соседи из-за этого, конечно, обижались, но что было делать! В Геенну Огненную Катя никак не хотела.

Про Геенну она в первый раз всерьез задумалась на одной из проповедей отца Митрофана. Проповеди ей нравились: во время них можно было сидеть – на солее или на корточках, можно было запасти заранее воска с подсвечника или набрать бумажек со стола, где пишут записки, из воска что-нибудь лепить, а из бумажек – мастерить. Один раз Катя попробовала притащить в храм карандаши, чтобы даже порисовать, но мама карандаши забрала и рисовать на проповедях не разрешила – баловство. Хотя Катя же не просто так сидела и баловалась, она еще и внимательно слушала.

Отец Митрофан обычно говорил о том, как далеки все от спасения, как все ужасны и грешны. Слушать это было грустно. Раньше Катя утешала себя тем, что это всё – для взрослых, но именно на этой проповеди услышала страшное.

– Смерть приходит внезапно, – сказал отец Митрофан. – Заберет Господь душу, вот прямо сегодня, когда вернемся со службы, когда сытно так пообедаем, расслабимся, на диванчике растянемся с удовольствием. А тут – перед Господом предстать. А мы готовы?

Дома после обеда Катя на всякий случай решила никуда не ложиться и не расслабляться и поэтому села за стол с «Искрой Божией», книжкой «для девочек, девиц и жен», родительским подарком на именины. Книжка раскрылась на маленьком рассказе о детях, которые гуляли по кладбищу и видели маленькие могилки. Дети ведь тоже умирают – так было сказано им, легкомысленно веселящимся и проводящим время в праздности.

Да, знак был очевиден, ей тоже уже пора было спасаться, а не только праздно сидеть на солее и надеяться, что всё это она исполнит, «когда вырастет», – она могла и не успеть вырасти. Вдруг Бог решит, что она бесплодная смоковница? Все-таки уже три года ходит в храм.

Но избежать Геенны было не так-то просто. Нужно было не грешить, но при этом сам отец Митрофан говорил, что все люди грешны по своей природе, что грехам нашим несть числа, как песку морскому, что бес не дремлет и всегда нас искушает. Катя со вздохом соглашалась – да, это так. Человек грешен по своей природе – это истинная правда, потому что ее природа просто не могла без конфет, никак. Двух к чаю ей было мало, гортанобесие одолевало ее, она лезла тайком в буфет, хватала целую горсть и (жадность!) еще и вторую, прислушиваясь, не идет ли по коридору мама, а потом было тайноядение в комнате, но тайное становится явным – мама обнаруживала под диваном забытый фантик, ругала, прятала конфеты в хитрые места, но Катя всегда их находила. Сколько ни пыталась она, покаявшись в непослушании, в ссорах и даже драках с Митей, исправиться – ничего у нее не выходило, она согрешала вновь и вновь, вела себя плохо, в постные дни веселилась, помыслы – хулиганить, брать что-нибудь без разрешения – приходили к ней постоянно. Более того – все эти грехи составляли ее жизнь, как бы она жила, если бы была безгрешной? Наверное, как-то совсем грустно.

Впрочем, и постоянная борьба с грехами тоже ничего не гарантировала. Отец Митрофан всегда повторял, что можно двадцать пять лет ходить в храм, а все равно не спастись. Уверенность в своем спасении – едва ли не самый тяжкий грех, ведь даже святые говорили: «все спасутся, один я погибну».

Катя приходила в уныние. Получается, всю жизнь надо страдать и идти тернистым путем, а потом еще и неизвестно, где окажешься, может быть, в аду, с теми, кто всю жизнь грешил и радовался. В «Законе Божием» даже была такая картинка: узким путем, сквозь тернии пробирались в рай скорбные ликом праведники, несущие на спинах кресты, а по широкой удобной дороге шли, с

гитарой, с бокалом вина, веселые улыбающиеся грешники – в ад. От этой картинки Кате становилось совсем грустно. Она даже едва ли не мыслила кощунственно, что лучше бы она не знала православной веры. Ведь сказано: «тот, кто не знал и делал, бит будет меньше», если бы Катя была неправославной девочкой с неверующими родителями, может, Бог бы ее на Страшном суде простил. Но она была православной, и грешить ей было никак нельзя.

Единственным реальным выходом ей казалось мученичество. Про мучеников она внимательно читала в житиях и поражалась – как они терпели всякие костры, крючья и колесования и не отрекались? Но главное, тут не нужно никаких долгих молитв и постов, борьбы с грехами – помучился немного, и венец, то есть пропуск в Царствие Небесное, уже точно есть. Ради этого можно было и потерпеть, может, если повезет, даже и мучить долго не будут, сразу отрубят голову (и такое ведь бывало, не всегда же крючья). Например, один из Севастийских мучеников – уверовавший в последний момент стражник – почти не мучился, а венец все равно получил, ему повезло. Тем более, каждый человек должен подражать своему небесному покровителю, а Катина святая была прославленной мученицей. Катя даже молилась, надеясь уснуть и, как святая Екатерина, проснуться с перстнем избранной невесты Христовой. Хотя ей больше нравилось быть не невестой – она мечтала быть воином Христовым с щитом и мечом, воином непобедимым и неустрашимым, потому что «разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог». Кто победит тебя, если ты Божий? Даже если победят твое тело, растерзают крючьями, сожгут на костре, дух твой будет непобедим, невидимый щит и меч отразят нападки врага, самого сатаны – с нами Бог!

Оставалось только найти, где помучиться. Впрочем, вскоре ей предстояло узнать, так ли уж легок и прост этот путь.

IV

Сначала – и совершенно внезапно – отпал Митя. Он вдруг неожиданно и навсегда отказался поститься и молиться, ходить на службы и на исповедь к отцу Митрофану и вроде как начал «делать карьеру». По крайней мере так он это называл. Начал с торговли газетами возле метро, пошел учиться на вечерку

в какой-то институт «ради корочки», занимался «темными делами», жил греховной, светской жизнью, время от времени не приходил ночевать домой: оставался у друзей и, возможно, даже предавался блуду.

Было много слез и скандалов, Митю лишали денег, с ним не разговаривали, но он был непреклонным блудным сыном и стоял на своем, несмотря на бойкоты, уговоры и мамины слезы. К тому же деньги у него были, возможно, и побольше, чем у родителей: он-то зарабатывал, а папе не платили зарплату, мама не работала, сидела с недавно родившимися двойняшками Аней и Ильей, так что перебивались кое-как, папа после работы «бомбил» на купленной еще до девяносто первого года машине, занимали денег, где только можно, ели серые, пахнущие жучком макароны и кабачковую икру с черным хлебом.

Митя так жить не хотел, он смотрел по сторонам – родители большинства его одноклассников вовремя успели подсуетиться, каким-то таинственным образом разбогатели, деньги делались прямо из воздуха. Митя тоже хотел так, хотел новые кроссовки, жвачку, импортный футбольный мяч – теперь все можно было купить, были бы деньги! Но родители не хотели суеты – они жили новой жизнью, «подсуетиться» означало для них отречение от правильного пути, снова вступление в мирские дрязги, в погоню за временным и материальным.

Мама говорила – это у него переходный возраст, самое опасное время, многие как раз отпадают от Церкви, плакала и жаловалась по телефону тете Наташе, та утешала: «Может быть, когда-нибудь потом Бог вразумит». Но у тети Наташи все как раз было в порядке – старший сын, Митин ровесник, в храм ходил исправно, средний – на год младше Кати – тоже, к тому же недавно родилась еще младшая девочка, ровесница Ане и Илье: тете Наташе все казалось преодолимым. Зато ее опытный в духовной жизни муж сказал печально, что тот, кто ходил в храм в детстве, а после отошел, вряд ли вернется обратно.

Теперь – неотвратимо, неотвратимо! – наступал и Катин черед, ее «переходный возраст», которого она ужасного боялась. В воображении ей рисовались страшные картины, как она вдруг, неожиданно, перестанет быть собой, отречется от Христа, подобно Мите, «соблазнит одного из малых сих» (даже не одного ведь, а двух – своих младших брата и сестру), и тогда лучше, как известно, получить мельничный жернов на шею и быть брошенным в море.

Однако перемен было не избежать.

Они возвращались с мамой с великопостной всенощной, и Катя, уставшая от долгого стояния, радостно прыгала через темные лужи с отражавшимися в них редкими фонарями. На всенощной проповеди отец Митрофан рассказывал про восьмиголового дракона, каждая голова которого – смертный грех, а дракон этот живет внутри всякого человека, время от времени высовывая наружу одну из голов. Перемахнув через очередную лужу, Катя весело заявила, что вот блудом никогда не согрешала, не выросла в ней что-то эта голова!

– Зато все остальные выросли, – ответила мама. – Особенно гордыня – вот такая голова торчит. Самая большая.

И сказала еще, что блуд – это не только поступки, но и помыслы. Одна послушница, например, была юной, чистой и праведной, и когда она неожиданно умерла, все думали, что она в Царствии Небесном. Но настоятельнице открылось, что эта девушка горит в аду, потому что при жизни постоянно смотрела с клироса на прекрасного юношу, приходившего в монастырь на службы, любовалась его лицом и мечтала о нем.

Вскоре после этого Катя поняла, что и восьмая голова дракона начала наклевываться в ней. Вполне логично, потому что змий на настольной картинке неспроста же держал себя пастью за хвост – это был символ того, что смертные грехи тесно связаны друг с другом, и один непременно влечет за собой другой. Так что цепь замкнулась, и последний смертный грех пустил свои корни в Катиной душе.

Теперь Катя полюбила читать про любовь. В свободное от чтения время она мечтала и еще все время влюблялась – согрешала блудом, как та послушница. Для этого у нее была заведена специальная секретная тетрадочка для мыслей об очередном мальчике – из школы или из храма. В тетрадочку также она писала рассказы и стихи и рисовала к ним картинки. Теперь все рассказы были обязательно про любовь, Катя сочиняла их постоянно – на улице, дома, даже в храме, и никто бы, глядя на эту благочестивую отроковицу в длинной юбке и белом платочке, не догадался, что на самом деле в голове у нее не молитвы, не служба, а… блуд.

Было ли это действительно блудом и нужно ли это исповедовать, Катя для себя так и не решила, хотя время от времени все же каялась самой себе, писала в той же тетрадочке про свой блуд и давала зарок все это прекратить. Но грех был сладок, и теперь, отвлекаясь от уроков, она уже не отодвигала учебник, чтобы

созерцать заключенного под стеклом змия, а лезла в ящик стола, где помимо тетрадочки теперь лежало еще и зеркальце, добытое из маминой старой косметички, сосланной на антресоли после прихода в Церковь.

Девяностые годы были в самом разгаре. Катю со всех сторон обступил греховный, пугающий мир, он весь был против нее – маленького, дрожащего воина Христова, едва державшего щит и меч в неуверенных руках. У метро всегда орала бесовская музыка, разъезжали страшные тонированные машины, ходили ярко раскрашенные девицы, молодежь пила на улице пиво, на лавочках бесстыдно обнимались парочки, возле палаток разгуливали кавказцы в спортивных штанах и кожаных куртках. Мир стал пестрым от рекламы, кричащим, зазывающим, призывал к греху, блуду, разврату, воспевал деньги и удовольствия – он был самым настоящим новым Вавилоном.

Катя всегда бежала со всех ног, не оглядываясь, как можно быстрее, перепрыгивала на спасительные островки: храм – дом – школа. Мир лежал во зле, мир мог осквернить, уничтожить, сожрать, всё катилось в ад, только Катя да еще немногие, «малое стадо», старались спастись, жить в Боге, идти правильным путем.

В самом деле, переходный возраст оказался даже хуже, чем она думала.

Хуже блудной страсти, наверное, было только то, что теперь Катя – разве она могла раньше даже представить такое! – стеснялась быть православной, стеснялась, что в этом ее уличат другие, «неправославные», страшные, до парализующего ужаса пугающие ее люди – нецерковные ровесники. Сам ее внешний вид говорил о том, кто она такая есть. Православная девочка не должна быть модной, носить брюки и джинсы, у нее должны быть длинные волосы, но ни в коем случае не распущенные, а заплетенные в косу. Православная девочка не должна заниматься украшением себя – отрезать всякие там челки, делать прически даже из длинных волос, носить украшения. Православная девочка в идеале должна всегда носить на голове платок.

От соблюдения этих правил Катя ужасно страдала. Чем старше она становилась, тем мучительнее ей было выходить на улицу в таком вот виде. Ведь там всюду были мальчики! Неправославные мальчики, а сейчас, томимая своим блудным мечтательством, она хотела не просто нравиться мальчикам, она хотела сражать их наповал, чтобы они тут же умирали и укладывались в штабеля. Все! И те, которые играли в футбол во дворе, и те, которых она встречала на улице и в

метро, и даже маленький невзрачный сосед с пятого этажа – чтобы он, заходя с ней в лифт, замирал бы от восхищения и забывал бы, на какую кнопку нажимать.

Она выдвигала ящик стола, доставала зеркальце, недовольно разглядывала свое отражение – на нее смотрели большие серые глаза, глаза вроде ничего, и ресницы темные и длинные, это хорошо, что не надо красить, ведь макияж – грех, потому что краситься – значит лгать, носить не свое, а нарисованное лицо. Но больше ничего хорошего – гладко зачесанные назад темные волосы, щеки из-за этого кажутся какими-то глупыми, голова яйцевидная как будто… Она вертела зеркальце, поворачивалась в профиль, косила глазом – а уши? Уши вообще, кажется, торчат!

Как-то раз тетя, мамина сестра, приехала в гости, попросила «отдать ей девочку», чтобы привести в «божеский вид». В какой «божеский вид» могла привести Катю неправославная тетя, было совершенно ясно – тетя красилась, коротко стриглась, носила юбки выше колена, курила и делала маникюр. В начале 90-х она сумела вовремя «подсуетиться» и устроиться в иностранную фирму, потому что хорошо знала английский, и теперь ездила регулярно за границу.

Но Катя устояла в вере и отвергла соблазн. Вот оно, мученичество! Вот где нужно показать свою веру. Не в «божеский» вид привела бы ее тетя, а в совершенно противоположный – бесовский. Надеть джинсы и постричься было предательством веры, отречением от Христа, она вспоминала мучеников (и крючья), нет, все же длинная юбка куда проще и ее можно пережить.

Но Катя даже не подозревала, какое еще ей уготовано испытание. Возле соседнего подъезда, мимо которого она обычно проходила, возвращаясь из школы, каждый день стала собираться компания. Это были почти ее ровесники или чуть старше, кажется, металлисты или панки, она что-то слышала такое, но точно не знала, – в узких джинсах, в кожаных куртках-«косухах» (совершенно сатанинское одеяние!) со множеством каких-то железяк, в черных футболках с нарисованными жуткими рожами, они сидели возле подъезда, болтали, смеялись, ближе к вечеру начинали петь под гитару.

Столкновение с ними повергло Катю в страх и трепет. Во-первых, потому что они были воплощением «неправославности» – неправославнее было бы сложно придумать, если даже сами «обычные неправославные» их, кажется, побаивались. Во-вторых, потому что они были самыми что ни на есть врагами:

возможно – тут Катя даже замирала от какого-то сверхъестественного ужаса – они даже были сатанистами, эти металлисты, она где-то слышала про них, про всю эту музыку, как от нее сходят с ума, становятся безумными, поклоняются сатане.

Но больше всего Катя страдала от того, что хотела сразить их и уложить в штабеля – именно их, ладно уж, Бог с ними, с остальными мальчиками. Ей нравились их таинственные железяки, и гитары, и кожаные куртки, придающие им такой мужественный вид, а особенно то, что они не боялись быть «другими» и непохожими на всех – они это могли, а Катя нет. Это было хуже всего – ей нравились враги христианства. Воина Христова из нее что-то не получалось.

Нет, одного только текста явно было мало. Если бы можно было самостоятельно снимать кино! Но Кате пришлось довольствоваться только рисунками. Рука сама начинала чертить в секретной тетрадочке: вот крупным планом лицо девушки, конечно, она очень хороша собой, хотя и очень скромна, но в глазах у нее такая твердость и сила, что всякий, взглянув на нее, останется очарованным и потрясенным. Пририсуем ей приспущенный с головы белый платочек, из-под него выбивается непослушная вьющаяся прядка волос. Справа пусть будет узкая извилистая тропинка, ведущая к храму вдалеке, слева – слева будет «он», конечно, красавец и мечта, но неправославный и грешный. Пусть смотрит потрясенно на нашу героиню, одарившую его суровым, спокойным взглядом, так что всегдашняя его насмешливая улыбка исчезает, замирает рука на гитарном грифе – он удивлен и восхищен: таких девушек он еще не встречал! Вот рядом его друзья в сатанинских одеяниях – «косухах» с железяками, гитары, смех, все соблазны этого грешного мира, этого города, такого страшного в середине 90-х, чужого, злобного, мирского. Что она выберет – свет или тьму? Отречется от Христа или от своей грешной любви? Как велик соблазн!

Наверное, спасти бы ее мог только ангел.

Ангел-хранитель

Первосентябрьский молебен, как обычно, служил отец Митрофан. Скучая, разглядывая повзрослевших за лето одноклассников, Катя рассеяно думала, в кого бы в этом году влюбиться. И девочки, и мальчики сильно изменились – еще бы, все-таки уже девятый класс! Она насчитала три штуки самых симпатичных: Денис Ковалев (не самый благонадежный, правда), Глеб Сергеев и Олег Благовольский, сын отца Владимира, еще одного приходского батюшки. Катя чувствовала приятное волнение и предвкушала, что напишет в новую секретную тетрадочку, которая уже была для этого дела заготовлена и ждала дома в тайнике.

Когда прозвенел звонок, она уселась за парту и уже открыла учебник, как неожиданно в дверях началось движение: в Катин класс загнали еще два старших класса и сообщили, что урока не будет, зато сейчас к ним придет «поговорить» батюшка, то есть отец Митрофан. Краткий и нервный ужас, кажется, охватил всех – вновь прибывшие пытались как-то разместиться, подсаживались за парты, жались в проходе. Катю задвинули к самой стене, и она втайне радовалась, что сидит в таком укромном уголке.

Наконец в коридоре раздались тяжелые шаги, от которых начал позвякивать шкаф у стены. Отец Митрофан стремительно вошел, и ветер, поднятый развевающимися широкими рукавами рясы, перелистнул страницу открытого Катей учебника.

Отец Митрофан велел всем сесть и сообщил, что пришел поговорить на серьезную тему. Потом он сел и сам – на жалобно скрипнувший и исчезнувший под складками черной рясы стул, и, поглаживая правой рукой непокорную бороду, шумно вздохнул.

Все замерли и устремили глаза на батюшку.

Отец Митрофан поздравил гимназистов с началом учебного года и сказал, что теперь они наконец стали совсем взрослыми. А это взросление неизбежно повлечет за собой новые искушения и соблазны, в частности, соблазн влюбиться и начать «гулять». При этих словах черные глаза внимательно и испытующе оглядели каждого, и Катя опустила голову, с ужасом думая, что он все видит, видит, все знает уже, может быть, даже заметил, как она разглядывала мальчиков на молебне, какой стыд… Однажды у нее так было уже. Она

оставалась после уроков на кружок по рисованию, а он заканчивался поздно, школа уже опустела. Они с Соней вылетели из класса, неслись по лестнице, хохоча и крича какую-то глупую ерунду. И вдруг в конце лестницы оказался… отец Митрофан! Он стоял, огромный и спокойный, и молча смотрел, как они летят, хохочут и кричат. Катя как будто врезалась на полном ходу в стену: покраснев до слез и онемев от ужаса, она тут же пошла на цыпочках, зажмурившись, взяла благословение и, кажется, так же, зажмурившись и на цыпочках, шла до самого дома.

Но даже если он не видел, как она смотрела на мальчиков (он ведь все-таки служил молебен и не отвлекался), то все равно, он знает: все говорят, что отец Митрофан прозорливый и три метра под всеми видит, а под Катей особенно – ведь она его духовное чадо.

А отец Митрофан говорил дальше – о том, что влюбляться в таком возрасте грех, потому что такая влюбленность ни к чему не приведет, только к растрачиванию души. Пусть это будут только прогулки, вроде бы ничего серьезного, но в этом-то и кроется опасность. Потому что, начиная отношения сейчас, нельзя рассчитывать на то, что они продлятся долго. Зато потом, когда придет время для серьезной, настоящей любви, окажется, что душа уже растрачена по мелочам, по коротким влюбленностям, и нечего подарить своему суженому.

– Вот будет вам лет двадцать, тогда и будете влюбляться, – сказал отец Митрофан напоследок и встал.

Вновь от рясы поднялся ветер, на учительском столе от его шагов подпрыгнула ручка – он ушел.

Все тут же облегченно выдохнули и радостно загалдели, с грохотом сдвигая стулья и выбираясь на свободу.

Жизнь продолжалась.

II

Начав со старшеклассниками разговор о любви и «гуляньях», отец Митрофан, как всегда, смотрел в самый корень.

«Гулянья» начались, вопреки отцу Митрофану и статусу православной гимназии. Предвестье «гуляний» обнаружилось в туалете: там – неслыханное дело! – появилось на двери нарисованное красным маркером сердечко с чьими-то инициалами внутри. Завхоз Иван Савельич неоднократно замазывал его краской по приказу завуча, но сердечко на следующий же день, как заколдованное, появлялось снова.

Казалось, что все старшие классы сошли с ума. Конечно, и до этого всегда были неблагонадежные – то есть те, у кого родители были недостаточно воцерковлены, их так и не исключили из школы, хотя все время грозились, но все-таки пожалели, оставили. Через них, конечно, все время проникала мирская зараза – нецерковные увлечения, неправославные словечки и привычки, потому что «Устав гимназии», запрещающий слушать плеер, смотреть телевизор и гулять с мирскими, они всё равно нарушали.

Теперь же даже самые благонадежные стали нарушать «Устав»: быть православным и благочестивым стало как будто стыдно. Несмотря на то что все должны были носить одинаковую форму, девочки надевали тайком украшения, а многие приходили в школу в брюках и переодевались в юбки в туалете. В класс стали приносить запрещенный плеер с разной греховной музыкой, и самым большим шиком считалось слушать его на уроке, пряча наушник в рукаве. У мальчиков появилась разболтанная походка и ножи-«выкидухи», которые изымались завучем со строгим выговором. Физкультура стала любимым уроком, потому что добрейшему физруку Юрь Юричу не удавалось следить за дисциплиной: на физкультуре можно было рисоваться и красоваться, кокетничать и играть, и там все время разыгрывались мелодрамы, драмы и даже трагедии.

В Катиной душе с сентября шла борьба. С одной стороны, ей безумно хотелось участвовать во всей этой неимоверно притягательной жизни – шептаться, кидать записочки, хихикать, серьезно влюбиться, наконец, тем более что Ковалев смотрел на нее как-то загадочно (но он ко многим девочкам приставал), а Ваня Петровичев, хотя и не самый симпатичный, совершенно точно уже был в нее влюблен.

С другой стороны, она помнила наставление отца Митрофана о растрачивании души, да и не хотелось ей, чтобы ее считали «неблагонадежной». Но главное, она понимала – все это суета и тлен, нет, даже проще, все это – грех. Грех – это жизнь, удаленная от Бога, так говорил в проповедях отец Митрофан. Все эти хихиканья, влюбленности, модная музыка, украшение себя ведут прочь от Бога, прочь от главного, осознание которого есть внутри у каждого человека.

Она стала задумываться, какой суетной и греховной жизнью живет. В голове ее были сплошные мальчики, писала и думала она исключительно про любовь, в храме скучала и томилась, отцу Митрофану внимала плохо, все время ей хотелось каких-то страстей, хотелось нравиться, кокетничать, все время влюбляться.

Особенно это было заметно при общении с Дашей, дочкой тети Зины. С Дашей Катя подружилась. После того как родители стали ходить к отцу Митрофану, мама сошлась с тетей Зиной ближе. Иногда Катя ходила вместе с мамой к ней в гости и каждый раз поражалась, как много в их квартире икон, причем самых разных – больших и маленьких, бумажных, деревянных, в больших киотах и в железных «ризах». Они висели на стенах в каждой комнате, стояли на старом черном пианино вплотную друг к другу, одна большая икона Спасителя висела над входной дверью. Ниже возле двери была приколота к стене бумажка с молитвой «при выходе из дома». Молитву мама тут же себе переписала, чтобы дома повесить такую же. Среди икон были и совсем старинные, темные, на которых едва различались лики, были и новые – их писала сама тетя Зина. Мама все время восхищалась, расспрашивала, рассматривала иконы и однажды попросила взять Катю в иконописный кружок: кружок был при приходе отца Маврикия, и вела его сама тетя Зина. Катя получила благословение отца Митрофана и занялась иконописью.

У отца Маврикия все было как-то по-другому, иначе, чем в Катином приходе – это она почувствовала сразу, как только там оказалось. Как будто в самом воздухе разливалась странная, почти монашеская строгость. Все в приходе знали друг друга по именам, людей было мало, зато существовала строгая иерархия. Так объяснила Даша. Было несколько «кругов» – самый ближний круг, давние духовные чада, к которым, конечно, относилась и тетя Зина; чуть подальше – менее близкие, круги расходились дальше и дальше, на периферии болтались «новички»: продвижение вглубь им было необходимо как-то заслужить. У отца Маврикия Катя все время чувствовала себя таким «новичком», хотя приходила в этот храм раз в неделю на занятия, дружила с Дашей и хулиганистым ее братом

Лешей, знала всю их семью, в которой родились еще погодки Миша и Лиза, семью, такую, казалось бы, «приближенную», привилегированную. Но дружба эта никакого значения не имела, все равно для отца Маврикия и его прихожан Катя оставалась чужой.

Дети в иконописном кружке оказались совсем другими, не такими, как в гимназии. Здесь не было неблагонадежных – совсем, и на их фоне Катя сама себе казалась недостаточно благонадежной. Все девочки в приходе отца Маврикия были в платках, даже на уроке и на переменах, у отца Маврикия вообще все женщины ходили в платках вне храма. Даша часто носила платок даже дома, впрочем, она объясняла это простой привычкой – к ним в гости регулярно приходили батюшки, некоторые приезжали из других городов и монастырей, жили у них дома по несколько дней.

Внутри у Даши был как будто железный стержень. Как только Катя при ней грешила – говорила про кого-нибудь «дурак» или угощала жвачками, которые дарил иногда Митя, – Даша опускала глаза и очень твердо отказывалась от греха. Кате тут же становилось стыдно, она сразу тушевалась: так сильно на фоне Дашиного благочестия проявлялась ее греховная сущность.

Когда Катя вступила в возраст «разброда и шатанья», Дашин железный стержень стал еще заметнее. Ее не интересовали мальчики, книжки про любовь и прочий блуд. Вообще блудное мечтательство с ней было несовместимо. Один раз, когда очень хотелось рассказать про очередного мальчика, Катя спросила ее: «А ты когда-нибудь влюблялась?» Даша ответила, что влюбилась один раз, но покаялась отцу Маврикию, а отец Маврикий ей сказал: сейчас влюбляться грех, вот когда вырастешь и у тебя появится жених, тогда и будешь его любить.

В Даше было главное – цельность. Она не была раздвоенной, как Катя, она была целомудренной, а именно в отсутствии целомудрия – «целостного мудрования», целостности мыслей и дел – была Катина проблема, вот отчего ей было так тяжело. Ведь эта нецеломудренность и двуличность неизбежно всплывали на исповеди – и все труднее и труднее становилось приходить к отцу Митрофану.

Отец Митрофан казался ей не вполне человеком. То есть умом она понимала, что он, конечно, человек. Но душа ее трепетала. Ведь он был духовником! Проводником Воли Божией. Отец Митрофан один мог подсказать, направить, даже приказать, потому что он знал, как истинно и правильно думать и поступать. Он был пастырем, пасущим врученных ему Богом овец. Без духовника

было никак нельзя: кругом соблазны, искушения, без помощи наставника человек мог забрести не туда, начать заблуждаться, впасть в прелесть.

Родители советовались с отцом Митрофаном по любому поводу, все решения в семье принимались только после одобрения батюшки, только по его благословению. Даже Илью и Аню так назвали, потому что отец Митрофан так благословил, хотя мама хотела назвать Андреем и Ольгой. Но на семейном совете постановили, что нужно называть детей не по собственному почину, как светские люди, а как принято в православии. После вечерней службы папа подошел к отцу Митрофану и спросил, как назвать детей. А отец Митрофан взял церковный календарь, посмотрел по святцам и благословил назвать Илией и Агнией.

Самым частым выражением в Катиной семье было «батюшка сказал». Его проповеди пересказывали за обедом после литургии и за ужином после всенощной, бережно «слагали в сердце своем» крупицы мудрости. Из-за бесконечных «батюшка сказал» случались даже ссоры с дедушкой, когда он приходил в гости. Дедушка отца Митрофана и его авторитет не воспринимал, пересказанным проповедям не внимал, нарочно называл батюшку «ваш бандит», чтобы подразнить маму, а мама принимала это близко к сердцу, пыталась образумить дедушку и объяснить ему, что Бог может покарать за кощунство. Но дедушка не ведал, что творил. Говорил все время: «с этой церковью вы все сошли с ума», «перестань морить голодом детей, сами поститесь, как хотите, а детей кормите нормально, они же растут!», в храм, правда, один раз заглянул, но даже не перекрестился – постоял и ушел. Мама молилась за него, чтобы Бог его простил, пыталась просветить Светом Христовым, привести к отцу Митрофану. Отец Митрофан, однако, сказал, что дедушку в храм тащить не стоит, активно просвещать тоже не надо, говорить о вере, только если сам спросит. И Катины родители послушались духовника, все-таки послушание выше поста и молитвы.

А для Кати выше всего была исповедь.

Она ненавидела больше всего – стоять в этой плотной толпе, к которой примыкали все новые исповедники, чувствовать растущее общее напряжение, смотреть на пустующее пока кресло-трон, ждать, когда скрипнет боковая дверь алтаря, упадет на солею огромная тень и, ловко шнуруя поручи, спустится вниз отец Митрофан, чтобы начать исповедь.

«Царствие Небесное нудится». Катя жаловалась маме, что ей страшно, тяжело, но мама говорила – и мне тяжело, но что делать? Страшно, потому что стыдно, потому что рассказываешь, какая ты плохая. Все мы, люди, любим только хвастаться, а тут приходится говорить о себе неприятную правду.

Всем тяжело, но ведь в духовной жизни легко не бывает.

Действительно, отца Митрофана многие побаивались, не только Катя: он всегда был суров, иногда даже груб, часто говорил неприятные вещи, надо было знать, как и что ему говорить – а то можно было и «схлопотать». Нет, он, конечно, никого не бил (битье однозначно привело бы к летальному исходу, в этом Катя была уверена, и тогда бы отца Митрофана извергли из сана), но иногда лучше бы бил, чем ругал.

Катя видела, как даже взрослые люди, исповедуясь ему, нервно хрустят пальцами, стискивают кулаки, а от исповеди отходят взмокшими, красными, а то и в слезах. Она иногда тоже плакала, но не прямо в храме (это был бы позор, ведь все увидят!): обычно после исповеди выбегала в сквер напротив храма и приходила в себя на лавочке. Думала: ну разве дело только в стыде? Исповедоваться другим батюшкам гораздо легче, хотя и там рассказываешь про грехи. Но дело было, конечно, в искушении. Все эти страхи – от беса, который специально вкладывает такие мысли в голову, чтобы человек оставил духовного отца, бес всегда хочет совратить человека, увести с пути истинного, поэтому такие искушения – верный признак того, что идешь правильным путем, злишь бесов. К тому же лучшего пастыря, чем отец Митрофан, просто не найти, другие люди вымаливают у Бога таких духовников, а Кате он достался практически даром. И, в конце концов, духовный отец не должен быть ласковым! Почти все люди ждут таких отношений, когда батюшка заменяет близкого друга, как писали об этом в православных книжках. Это батюшки-«ласкатели», они идут не той дорогой и не той дорогой ведут духовных чад, поэтому отец Митрофан вполне справедливо суров, и пусть даже может довести до слез – значит, на пользу, он-то знает.

Но чем старше Катя становилась, тем было ей сложнее. Уже прошли те времена, когда круглыми старательными буквами она выводила на чистом тетрадном листочке: «Батюшка! Я согрешила: тайноядением, непослушанием, дралась». Невозможно было больше тарабанить один и тот же список грехов – с ним это не проходило, а как по-другому исповедоваться – она не знала, пришлось бы копать слишком глубоко. Нет, конечно, она хорошо знала правила – что говорить, чтобы

не «схлопотать». Никогда не оправдывалась, не жаловалась, всегда винила себя. Отец Митрофан никогда серьезно не ругал. Иногда вообще «проносило» и исповедь проходила легко. Иногда он что-то говорил. Но чаще она встречала его взгляд – проникающий внутрь, насмешливый как будто, и тогда делалось невыносимо стыдно – едва приложившись к Кресту и Евангелию, Катя пулей вылетала из храма, сидела на лавочке в сквере, переводила дух.

Что-то очень болезненное было в этом вечном понуждении себя (ради Царствия Небесного, да-да). В том, что самые тайные движения ее души знал человек, которого она боялась больше всех на свете. Кое-что о себе она даже лучшему другу бы не сказала, а ему приходилось говорить, и не один раз. Всегда это было мучительно тяжело – писать на бумажке или обдумывать перед устной исповедью грехи. Как только она не изощрялась! Тщательно продумывала исповедь, искала удобные формулировки, чтобы все выглядело «пристойно»…

Она знала, что утаивать ничего нельзя, это сугубый грех – утаить на исповеди, пойти к причастию с нераскаянным грехом, поэтому рассказывала все.

Но как бы она ни изворачивалась, все время получалось, что согрешала она одним и тем же и не исправлялась. Внешне все исполняла, а душой была не с Богом. Верила ли она в Бога вообще? Отец Митрофан заглядывал ей в глаза, как будто сразу видел всю ее душу, всю греховную суть, и она краснела от стыда за свою грешную жизнь, понимала, что идет куда-то не туда, что пытается скакать «по верхам».

И вновь и вновь она с тоской ждала выходных, снова стояла, дрожа, в толпе, пытаясь унять прыгающее в горле сердце, вновь осознавала, что не живет духовной жизнью, что нет в ней серьезного отношения к своей душе, только рассеянность, растерянность и суета.

Она была «расслабленной», как в Евангелии.

Но в конце концов стало понятно: время пришло, пора «встать и ходить».

III

Началось все с размолвки с Соней.

В класс приносили книги про любовь, девочки ими обменивались, обсуждали, Кате тоже дали как-то роман «Трое из навигацкой школы», по которому были сняты «Гардемарины», – конечно, неблагонадежная Ксюша смотрела дома, а еще и Соню подбила посмотреть, у нее была видеокассета.

Катя, само собой, фильм не смотрела, но книгу все-таки взяла. Она читала, читала и вдруг поняла с ужасом – да это же блуд! С этими словами она вернула книгу Соне.

– Почему блуд? – спросила Соня.

– Ну, вот смотри, тут они упали и вместе лежали.

– Ну и что? Он же был одет девочкой, ну, подрались, подумаешь, упали.

– Это все равно блуд! Какая разница, как одет, – девочкой, мальчиком! Лежали, понимаешь? Как можно вместе лежать неженатым? А вот здесь вообще совершенно явно: «Это будет ночь нашего венчания». Ты понимаешь, о чем это? Что это за «ночь венчания», если они не венчались?

Соня была не согласна, подумаешь, «ночь венчания», просто красивый образ – вдвоем ночью на реке, нормально. Но Катя испугалась. «Лежали» – это все-таки уже было на грани. А «ночь венчания» – за гранью. Еще чуть-чуть – и бес блуда окончательно бы завладел ее душой.

Пора уже было делать выбор, с кем она – с блудными одноклассниками или с Богом? Она христианка или кто? Ей припомнились жития святых (как быстро их сменили светские книги, увы!): мучениц терзали железными крючьями и колесовали, подвижницы носили власяницы и питались акридами, святые монахини непрестанно молились, и все они стяжали Царствие Небесное, заработали венцы, так как искали себе сокровища не на земле, где ржа съедает и воры подкапывают и крадут, а на небе. Земное умрет, небесное останется, к небесному и надо было стремиться, отринув все земное, суетное и временное.

Отец Митрофан часто говорил, что Бог не требует от нас многого (крючьев или власяниц, думала Катя), он просит только, чтобы мы хоть в чем-то отказали себе ради Него, показали свою любовь к Нему. Про любовь Катя не очень понимала, вообще-то не было у нее любви к Богу, хоть она и не смела даже себе самой сказать об этом честно (ведь христианка должна в первую очередь любить Бога, об этом писали во всех православных книжках, на которых Катя возрастала и таки возросла). Но разве не могла она потерпеть не крючья, нет, и не непрестанную молитву, а хотя бы малое – хотя бы отречение от этой суетной жизни, от всего того, что мешало ей идти правильным путем.

Она призналась и покаялась самой себе в главной своей страсти, уводящей от Бога, – страсти к блудному мечтательству, в первую очередь мешающей ее духовной жизни, и со слезами уничтожила все тетрадочки с романами и рассказами, и даже дневник, где уже было немного про мальчиков. Она унесла в родительский шкаф любимые книжки, а в свой поставила Святых Отцов, спрятала зеркальце назад в косметичку на антресоли и решила с этого дня вести настоящую духовную жизнь – строго и внимательно читать полное правило (нужно бы еще и акафист великомученице Екатерине каждый день), не есть конфет без меры, не мечтать, книги – только по школьной программе, святые отцы на ночь вместо тетрадочки.

Но оказалось, что блудную страсть не так-то легко победить. Сколько не внушала Катя себе, что нужно быть крепкой в вере, она все равно все время искушалась. Во-первых, обнаружилась неожиданная пустота: когда Катя делала уроки, она автоматически тянулась к ящику стола, но тут же вспоминала, что тетрадочка была разорвана на мелкие клочки и спущена в унитаз, а за зеркальцем надо лезть на антресоли. От этого становилось тоскливо, и сразу вспоминались слова из Евангелия о том, что возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад неблагонадежен для Царствия Божия. А во-вторых, трудно было оставаться безучастным зрителем, когда на сцене бушевали такие страсти. В одно ухо ей то жаловалась, то хвасталась Соня, влюбленная в Глеба Сергеева, в другое – рассказывала о своих дворовых похождениях Ксюша; Ваня Петровичев переметнулся к девочке на класс младше, красавец Ковалев закрутил отчаянный, вызывающий роман со старшеклассницей.

Святые Отцы писали: из двух зол выбирай меньшее; понимая, что избежать греха в такой ситуации никак не получится, Катя решила выбрать меньшее зло – влюбиться в Благовольского.

Благовольский ни с кем не гулял и суетной жизнью не жил. Конечно, в него сразу все стали влюбляться, это было вполне предсказуемо – все-таки он был очень хорош собой, а за лето вырос и смотрелся уже не мальчишкой, а прямо-таки юношей. Но постепенно девочки от него отступались – становилось неинтересно. Он не реагировал. «Гулянья» его совершенно не интересовали, подброшенные записки он игнорировал, кокетства не замечал. Девочкам становилось скучно, все усилия пропадали втуне. Тем более что вокруг были жаждущие «гуляний» мальчики, живые, понятные, готовые ко всему – играть в «сокс», «провожаться», даже ревновать и страдать.

Олег не выбегал, как одержимый, из класса, едва звенел звонок, не носился с мальчишками по школе, он или оставался за партой и читал книгу, или выходил спокойно, садился на подоконник в коридоре – тоже читал, а иногда задумчиво смотрел в окно, перебирая худыми нервными пальцами черные бусины небольших четок.

С Олегом не могло быть никаких «гуляний». Может быть, он даже мог бы помочь в духовной жизни. «С преподобным – преподобен будеши, со строптивым – развратишися».

«Конечно, это промыслительно», – писала Катя в новую тетрадочку, как-то незаметно сменившую авву Дорофея. Бог специально послал Олега ей, так жаждущей влюбиться, чтобы она не впала в грех, не начала «гулять», не ступила на широкий путь, ведущий в ад веселящихся грешников. Она оставит теперь свои прежние глупые влюбленности, исцелит поврежденную грехом блуда душу и начнет достойную, правильную жизнь православной христианки.

IV

Какое-то чудесное спокойствие на нее снизошло. Больше не было никаких искушений, никаких метаний и страданий. Как будто плотным пушистым уютным покрывалом она была укутана от всего мира – «блажен муж, иже не иде на совет нечестивых», воистину!

Просто теперь она поверила, убедилась – Бог правда есть.

Это было уже какое-то иное знание – не наивное и детское, а взрослое, серьезное. Бог был здесь, Он все время был рядом – она вдруг стала чувствовать это всей душой и даже всем телом. Бог ждал ее движений, шагов, ждал, когда она захочет стать Его послушным чадом. И стоило только начать, двинуться в ту сторону, просто попытаться найти смысл во всем этом, как оказалось, что воистину – имела она очи, и не видела, имела уши и не слышала, но теперь она видела и слышала всё.

Она неожиданно полюбила молиться. Раньше утреннее и вечернее правило всегда было для нее тяжким подвигом. Мама говорила: «Надо молиться ногами», то есть просто стоять и вычитывать, пусть ты не молишься от сердца, но для Бога уже ценен твой подвиг – что ты стоишь и читаешь. Так положено христианке, и не читать правило – грех. Едва окончив утренние молитвы, Катя с тоской думала, что впереди ее ждут вечерние, и так день за днем и год за годом без выходных! От этого становилось особенно печально и безысходно, так что все это грозило перелиться в смертный грех уныния, от которого, в сочетании с ленью, непослушанием и тайноядением, возможно, произросло бы и загадочное мшелоимство, а то и что похуже, впрочем, справиться об этом можно было у подстекольного змия. А ведь в конце каждой недели было еще «Последование ко святому Причащению»: три канона (хотя бы укороченных, объединенных в один) и долгие, долгие, бесконечные, непонятные молитвы, на несколько страниц каждая…

Но с «Последованием» еще ладно, а какой смысл в этих утренних и вечерних молитвах – она не понимала в принципе.

Молитва – это разговор с Богом, говорил в проповедях отец Митрофан. Допустим, она часто обращалась с просьбами к Нему, но это были именно просьбы, своими словами. А о чем было «говорить» каждый день, утром и вечером? Зачем нужен этот «разговор», если молитвы читаются одни и те же?

Но теперь в этом «вычитывании», за которое она взялась рьяно, хотя по-прежнему не видела в нем смысла, было какое-то удивительное успокоение, похожее на то, которое бывает от честно сделанных уроков. Тихая и спокойная радость от того, что все теперь «правильно» и при этом «правильно» без особых каких-то усилий, – вот что радовало Катю. Наконец-то она была не просто грешной сладкоежкой, драчуньей и лентяйкой, которая все время мечтала валяться с книжкой на диване, теперь она была правильной православной христианкой. Теперь родители были довольны ее благочестивым поведением,

тем, что она взялась наконец за ум, теперь можно было не так бояться отца Митрофана и его пронизывающих взглядов на исповеди в ответ на привычное «не молилась утром и вечером», теперь она была его настоящей духовной дочерью, исповедующейся серьезно и вдумчиво, и ей казалось, что и он рад, что Катя – верное чадо, не то что большинство гимназистов.

Она могла только радоваться и удивляться тому, как легко все вдруг разрешилось. И даже особых мук не потребовалось, даже отказываться от любимого занятия не нужно – она влюблена в Олега, но эта влюбленность не прежняя, блудная и грешная, а тоже правильная и православная. Ведь и он, со своими четками и серьезным взглядом, был полон благочестия, желания жить по-христиански, жить правильно, православно. Он точно так же стоял благоговейно на службах, как теперь стояла Катя (украдкой поглядывая на него из-за колонны), пока остальные гимназисты или отсыпались дома, или, зевая и томясь, дремали у стенки.

Службы тоже всегда оставались Кате непонятны и неинтересны, за исключением – иногда – литургии. Всенощная казалась долгой, томительной, ужасающе скучной, обычно было ужасно жалко тратить на нее субботний вечер, тем более когда на улице хорошая погода. Литургию она еще более-менее воспринимала. Во-первых, потому что литургия – короткая служба, и все тексты были в богослужебной книжке, да еще и с переводом, по книжке можно было следить, и все становилось понятно. А во-вторых, еще лет в девять она прочитала рассказ Никифорова-Волгина «Тайнодействие» и прониклась. После этого рассказа она стала понимать, что смысл всей литургии в Таинстве, совершающемся в алтаре, и причастность к этому Таинству наполняла ее одновременно благоговейным ужасом и радостью. После «Верую», в особенно четкой после общего пения тишине, начиналось это – закрывались Врата, задергивалась даже шторка над ними, строго и торжественно пел хор, погружая Катю в жутковатое трепетное состояние: Таинство совершалось – хлеб и вино становились Телом и Кровью, и голос отца Митрофана начинал странно волнительно дрожать, когда он читал в алтаре (тихо не мог, все равно его слышали) те особые молитвы, которые даже «вси вернии» не должны были слышать. Звенел колокольчик трижды, как трижды было провозглашено «Аминь!» в ответ на троекратное прошение, и Катя зажмуривалась – вот сейчас, сейчас, сию минуту происходит Чудо, здесь, за деревянным алтарем и тоненькой шторкой, всего-то ничего от Кати, Сам Святой Дух сходит на Дары, освящая Их.

Но и на литургии не всегда входила она в молитвенный и трепетный настрой, чаще, невыспавшаяся, сонная и недовольная, она дремала стоя, думая всю службу о чем-то постороннем, и Евхаристия означала для нее скорый конец службы и – наконец-то! – непостный обед дома.

Отец Митрофан как-то сказал в проповеди, что Царство Небесное – это вечная литургия. Катя тогда тихо ужаснулась: всегда будет длиться эта томительная, скучная служба, которую она выносила только потому, что хорошо знала ее ход, знала, когда она закончится, и радовалась про себя, когда уже наконец пели «Отче наш». Мало того, что ради Царствия Небесного приходится отказываться от всего, страдать и идти тернистым путем, так еще и само Царствие Небесное оказалось… гм… впрочем, это были уже какие-то кощунственные мысли, и Катя поспешно гнала их прочь.

Но теперь она не просто «делала все правильно» и получала от этого заслуженную радость, теперь в храме был Олег, и «правильное дело» становилось вдвойне радостней. Теперь Катя не хотела пропускать ни одного воскресения, ни одного праздника, еще накануне ее охватывало радостное волнение – встреча, завтра! Утром она вставала уже не так, как обычно – через силу, с трудом, а радостно вскакивала, читала утренние молитвы, умывалась, собиралась, легко бегая из комнаты в ванную и обратно, и, наверное, удивляла маму.

Воля Божия была ей совершенно очевидна. Это Бог послал ей такого ангела-хранителя, ведь отец Митрофан всегда говорил, что спасение приходит через людей.

Кажется, кончился страшный период – переходный возраст, она пережила это страшное время без потерь, не ушла из храма, не отреклась от Христа, не соблазнила Аню и Илью, а выбрала правильный путь и начала подлинную духовную жизнь.

Туман

I

Тетка эта слишком уж пристально ее разглядывала: Катя время от времени поднимала голову от книги, бросала украдкой взгляд на лавочку напротив – смотрит. Ну, пусть смотрит. Наверное, ее удивляют книги – их слишком много, к тому же старых, подклеенных, библиотечных, с самодельными обложками, прежние давно уже истрепались: по этим книгам учились еще преподаватели, во всяком случае так рассказывали в библиотеке на собрании для первого курса. Им тогда всё подробно объясняли – как пользоваться каталогом, как выписывать шифр, что где находится в читальном зале.

Сегодня была удача – по требованиям принесли всё, хотя Катя и не надеялась, выписала кучу книг с запасом, чтобы взять хоть что-нибудь, но уже издалека увидела, что сонная и вечно недовольная девушка несет, придерживая подбородком, огромную стопку, ура! Куда девать все эти книги, она думала уже потом, когда распихивала свой улов в гардеробе – в и без того набитую учебниками сумку и в пакет с физкультурной формой. Пакет топорщился, уголки книг пропороли его в трех местах, сумка не закрывалась, две книги вообще не влезали уже никуда, она решила понести их в руках, ничего. Только бы в метро удалось сесть! На «Университете» иногда бывало местечко. Сесть удалось, она утвердила в ногах пакет, взяла первую из никуда не поместившихся книг – Еврипид, хорошо, начнем читать: по античке огромный список. И тут, случайно подняв голову, встретила этот странный взгляд тетки с лавочки напротив.

Катя перевернула страницу, пытаясь вникнуть в диалог Ифигении с Орестом. Сосед слева заглянул ей через плечо, потом покосился на Катю, она краем глаза уловила этот удивленный взгляд и улыбнулась про себя – никто такие книги в метро не читает, только студенты-филологи. Восторг от того, что она теперь студентка филфака, еще не прошел, иногда в библиотечной очереди, на лекции, в столовой или в холле, поймав свое отражение в высоком зеркале, она изумленно думала – студентка? Я? Не верилось, что это правда, но все было по-настоящему – и серый студенческий билет с серебристым контуром главного здания МГУ на обложке, и длинные коридоры с темным вытертым скрипящим паркетом, и расписание возле учебной части, студенческая жизнь, и в этой жизни – она, Катя.

Филфак она выбрала сознательно, давно, любимая учительница литературы Анна Александровна предложила рискнуть, Катя, конечно, согласилась: с ее

любовью к чтению и нелюбовью к точным наукам идти можно было только туда. Она решила идти на русское отделение, хотя когда-то хотела быть переводчиком, но заниматься зарубежной литературой было страшно – она греховная, иностранная, чего стоит хотя бы французская литература, о которой даже отец Артемий вроде бы говорил как-то по «Радонежу» как о дурной, а уж отец Артемий сам филолог, он знает! К тому же Катя боялась, что отец Митрофан не благословит ее на филфак, тем более в МГУ, где «золотая молодежь», поэтому, придя к нему за благословением, она особенно напирала на то, что идет на русское отделение, а там Достоевский, там Шмелев, там не страшно и, может быть, даже душеполезно. Некоторые приходские знакомые отговаривали и Катю, и ее родителей от филфака, тем более от МГУ, – там, говорили, с утра пахнет «травкой», там все ездят на таких машинах, там вообще моральное разложение, шла бы Катя лучше в православный вуз. Но отец Митрофан ее неожиданно благословил, и Катя начала готовиться к поступлению в университет со страхом и трепетом.

Конечно, она очень боялась. В университете она осталась бы совсем одна – одиноким воином Христовым среди университетских язычников. Одно дело пробегать мимо них на улице, а каково сидеть с ними за одной партой, вместе учиться? Из-за этого она иногда малодушно думала, что лучше было бы пойти в православный вуз. Останавливало только то, что в православном вузе параллельно с основной специальностью нужно было еще в обязательном порядке учиться богословским наукам, а богословие никогда ее не привлекало, она любила светские книги, и учиться у Анны Александровны ей нравилось, тем более теперь, углубленно, не по школьной программе. Эйхенбаум, Лотман, Мочульский, Гуковский, Тынянов – они как будто указывали ей на то тайное знание, которое могло открыться, стоило только стать на этот путь, захотеть приобщиться к нему. Там, где жило это тайное знание, люди как будто уже не делились на православных и мирских, там это было неважно, там все было немного «неотмирным», другим, слишком высокими были материи, чтобы скатываться до выяснений «свой – чужой», казалось, это уже точно – для всех. Бесплотность этого тайного знания сделалась Кате очевидна, хотя она пока касалась его всего лишь кончиками пальцев, но уже вдохновлялась – оставался ей шанс выжить среди неправославных, получить светское образование.

К тому же девяностые кончились. Почему-то, едва девятки сменились на нули, стало как-то легче дышать – как будто в самом деле можно было начать все с нуля, как будто не только последние десять лет, но и все десять веков были сброшены со счетов, и третье тысячелетие, казалось, сладостно манило обещанием какой-то новой светлой жизни. Темные, страшные, голодные годы

ушли в прошлое, папа смог устроиться на нормальную работу, уже можно было что-то купить, и мама тоже пошла работать на полставки – Аня и Илья уже ходили в школу, и первая половина дня у мамы освободилась.

Прежняя строгость православной жизни тоже постепенно куда-то уходила. Уже трудно было поверить, что существовали когда-то маленькие полуподпольные общины, что раньше всех «записывали» перед крещением. В Москве не осталось уже ни одной церкви без креста – теперь храмы восстановили, народ лился в них бесконечным потоком, рукополагали молодых батюшек, о Церкви стали больше говорить, и не только в желтых газетах, как раньше, а уже серьезно и как будто даже заинтересованно. Даже на телевидение кто-то пытался пробиться, вроде бы появилась даже какая-то православная передача, издавали все больше православных журналов и газет и, само собой, книг, причем не только репринтных, с ерами и ятями, а новых. Стали печатать разных батюшек, и, конечно, Кураева, издавали проповеди на кассетах, говорили о насущных церковных проблемах. Всё больше стали говорить о неофитстве, которым заболевают многие новички в церковной жизни, и о православном воспитании детей, которых не стоит заставлять ходить в храм и молиться, потому что веру нельзя воспитать насилием. А еще писали (пока осторожно), что брюки тоже могут быть женской одеждой и носить их не грех. Волосы женщинам тоже можно стричь, а телевизор можно смотреть – конечно, в разумных пределах, помня о душе.

Родители понемногу оставляли сугубую строгость в вере: разрешили Кате остричь косу и носить джинсы, а младшим детям даже купили видеомагнитофон, чтобы смотреть хорошие фильмы.

Все-таки было немного страшно, кто-то из маминых знакомых рассказывал, что стриженых женщин Богородица не сможет вытащить из ада: будешь падать в ад, Богородица протянет руку, чтобы ухватить за косу, а косы-то нет. И про женщин в брюках одна старица говорила, что при Антихристе они все будут призваны в армию. Но Катя все равно радовалась этим послаблениям – теперь она могла быть не такой уж «другой» и не сильно отличаться от мирских. Конечно, это было малодушно, ведь где-то в глубине души она понимала, что православная христианка должна нести свой крест до конца и терпеть надругательства врагов, «блажени есте, егда поносят вам», но, в конце концов, разные батюшки писали же в книжках, что греха и отречения в мирской внешности нет, а отец Митрофан ничего по этому поводу не говорил. Катя, впрочем, на всякий случай не уточняла.

Однако, несмотря на джинсы и отсутствие косы, она все равно чувствовала себя другой. Катя была островитянином, попавшим на большую землю, и поражалась всему. Она впервые вблизи увидела, как девочки курят и пьют пиво прямо из горлышка. Как говорят «хрен знает» и совершенно этого не стесняются. Некоторые – правда, совсем уж хулиганки и двоечницы – даже матерились! Все эти неправославные не читали утром и вечером молитв, зато смотрели сколько угодно телевизор, не придавая этому особого значения, спали до обеда по воскресеньям и спокойно ели в пятницу купленную в ларьке пиццу с колбасой. Катя смотрела на все это с каким-то ненормальным жадным любопытством – ей хотелось буквально все потрогать, пощупать, понять законы «их» мира, почувствовать эту «неправославность» как можно ближе. Как это, например, утром накрасить глаза и губы, поехать в университет, а вечером пойти в клуб танцевать с друзьями? Как это – пить пиво или даже водку (как рассказывали некоторые) на всяких тусовках? И как себя ведут те, кто живет такой жизнью, о чем они думают, как себя ощущают? Ей казалось, что если она подойдет как можно ближе, пощупает, понюхает, надкусит эту жизнь, то сможет понять «их», всегда таких загадочных для нее и страшных. Ей надо было их понять, чтобы перестать так бояться.

«Они», казалось, ничего особенно не замечали, может быть, Катя хорошо маскировалась, хотя, например, вообще не красилась, и, конечно, сразу обозначила свою позицию – что она не пьет, не курит и матом не ругается. Все-таки надо быть воином Христовым, несмотря на внешние уступки, об этом и писали в книжках – нужно хранить внутреннее, а не внешнее, вот Катя и хранила. Может быть, «они» и догадывались, но, кажется, «их» это не особенно волновало.

Они не делали никаких попыток ни унизить ее, ни обличить, более того, они даже ходили с ней после пар поболтать и прогуляться, обсуждали вполне буднично все университетские дела. Катя даже как-то сошлась с неправославной, конечно, Варей из своей группы, впрочем, Варя носила крестик и вроде как не чуралась Церкви, хотя воцерковленной, разумеется, не была.

«Тайное знание» действительно не делало различий и требовало жертв от всех – все одинаково страдали в читальном зале, стояли в библиотечных очередях, заучивали артикуляционные профили по фонетике, все одинаково боялись первой сессии как окончательного экзамена на «настоящего студента», таскали полные сумки книг, читали в метро античку – Катя слилась с этой толпой первокурсников, плыла по течению, не думая пока ни о чем, кроме насущных

забот: сдать, достать, сделать, выучить, прочитать.

«Ифигению в Тавриде» она дочитать не успела, сейчас пересадка, а на другой ветке вряд ли удастся сесть, вздохнула с сожалением – придется дочитывать дома, а дома еще столько дел! Встала, надела на плечо ремень сумки, от которой сразу заныла спина, взялась за свой неподъемный пакет и стала протискиваться к выходу. Толпа вынесла ее из дверей, закружила, Катя пробилась к колонне, чтобы остановиться, может, удастся все же впихнуть две не поместившиеся никуда книги, они очень мешали, и вдруг опять увидела прямо перед собой ту тетку, с лавочки напротив. Тетка смотрела ей в лицо, казалось, что с какой-то даже жалостью, и вблизи стало ясно, что это не тетка, нет, это уже старушка, очень старая, все лицо в морщинах, но глаза светлые, прозрачные почти что, а взгляд ясный, даже юный, вот она и кажется моложе. Странная бабушка взяла вдруг ее за руку, Катя опешила, ничего не успела сделать, ни сказать, ни отпрянуть даже, как бабушка, глядя прямо ей в глаза, сказала ласково, сочувственно, неожиданно певучим голосом:

– Порчена ты, девка. Сглазил кто-то.

Ее уже не было, исчезла, растворилась в толпе, Катя стояла, глядя ей вслед, – это было или не было вообще? Может, от напряженной учебы в голове помутилось? Но рука как будто зудела от прикосновения теплой сухой ладони, и Катя машинально потерла ее о джинсы. Ее толкали, она перехватила поудобнее пакет: вот-вот порвется, доехать бы скорей до дома.

Порчена! Сглазил! Девка! Бред какой-то. В метро полно сумасшедших.

II

Напряженное лето со вступительными экзаменами, начало учебы и первая сессия отодвинули на задний план всё остальное, как будто сделали душу менее восприимчивой к волнениям, мечтаниям и страстям. Но едва только Кате удалось освоиться немного в новой роли, едва только она почувствовала себя уверенней и поставила по ветру свой маленький парус в бурном море университетской жизни, как спасительная анестезия кончилась: в душе прочно прописалась болезненная острая тоска.

Было как будто две Кати – одна, внешняя, исправно тянулась, училась, общалась, жила жизнью обыкновенной студентки: сидела с девочками на «сачке» под лестницей, стояла в библиотечных очередях, перебрасывалась записочками на лекциях, радовалась стипендии, делила один на всю группу доширак в полутемном закутке у тети Цинны, который все называли почему-то «карманом»; там всегда в перерывах между парами выстраивались гигантские очереди, зато в «окно» можно было спокойно сесть в уголке, тащить расползающиеся во все стороны пластмассовые макароны, обсуждать перлы очередного препода или делать вместе старослав.

А вторая, внутренняя Катя, тосковала. Мир ее рушился, твердая земля под ногами вдруг стала разъезжаться в разные стороны, и все вокруг как будто тонуло в непроглядном, плотном, вязком тумане. Ей казалось, что университетская суета затягивает ее, что она скатывается постепенно, отходит от Бога, все меньше у нее получается быть правильной христианкой. Она только сейчас стала понимать, как наивно решила, что устоит в вере, сохранит внутреннее, уступая во внешнем. Внутреннее таяло, внутреннее ускользало, растворялось в зыбкости и неустойчивости, которые теперь были повсюду в ее жизни. Она корила себя – за обрезанную косу, джинсы, из которых теперь не вылезала, – ведь все получалось по Евангелию, «неверный в малом неверен и во многом». Получалось, что «многое», главное, держалось на этих мелочах, держалось просто на прежнем укладе жизни, а сейчас, здесь, в другом мире, она уже не могла быть прежней – правильной православной христианкой.

Все три последних школьных года Катя жила праведной жизнью. Исправно молилась, исповедовалась у отца Митрофана, ходила в храм, не участвовала ни в «гуляньях», ни в «посиделках», которые иногда устраивали одноклассники у кого-нибудь на квартире. Одни «посиделки» кончились плохо – пили вино, курили, были приглашены мирские, со двора, Ковалев вообще напился, об этом узнали в гимназии, кто-то из своих рассказал, но кто именно – так и не выяснили, и все обвиняли друг друга в стукачестве. Из-за этого было даже общегимназическое собрание, на котором «посиделки» запретили раз и навсегда и поставили вопрос об исключении Ковалева из школы, а отец Митрофан долго рассказывал, сколько на гимназистов было потрачено сил – и физических, и душевных, и что теперь со стороны учеников учителя и родители видят только черную неблагодарность.

Но Катя была далека от всех этих дел и тревог, она не ходила на совет нечестивых. У нее был единственный друг, благочестивый – Олег Благовольский.

Конечно, никакие «гуляния» с ним были невозможны, да она и не хотела ничего такого, но Олегу тоже надо было сдавать на вступительных историю, так что они стали вместе дополнительно заниматься у историка Александра Григорьевича после уроков, а значит, иногда вместе ходить до метро и даже созваниваться по телефону.

Олег стал ее замечать и, кажется, выделял среди нечестивых одноклассников как более-менее приблизившуюся к высотам – ведь она всегда с трепетом внимала его умным речам, не перебивала, не совалась со своим мнением, признавая его безоговорочный авторитет. В одиннадцатом классе он стал выглядеть еще строже, чем раньше, – надел очки в тонкой оправе, которые делали его значительно старше и серьезнее. Четки по-прежнему прятались в рукаве – никто их не видел, но Катя об их существовании знала, поэтому замечала иногда выглядывающий из-под манжета черный крестик. К тому же теперь Олега взяли в алтарники – и тогда, в первый раз увидев его в стихаре, она впервые же ощутила острый укол несоответствия и собственной недостойности, как будто теперь он стоял выше Кати не на метр, отделявший солею от храмового пола, а вознесся в небеса, как будто из мальчика (пусть серьезного и благочестивого) стал вдруг ангелом.

Именно теперь ей вдруг стало понятно: кто он, а кто она. Он, сын священника, благочестивый, любящий Бога юноша, прекрасный, чистый и цельный. А она… Даже определений себе давать не хотелось, и так все понятно – с растраченной уже на влюбленности душой, любительница сладкого и светских книжек, невоздержанная в словах и поступках, в прошлом вообще драчунья (хорошо, что он хоть об этом не знает), склонная всегда к хулиганствам и авантюрам, но такая далекая от благочестивой степенности, служб и молитв. Но ведь с преподобным – преподобным будеши, с ангелом она должна была стать ангелом, и разве это не было бы угодно Богу?

Он и в самом деле был похож на ангела – особенно в неземной этой одежде, такой строгий и красивый, с одухотворенным и сосредоточенным лицом. Стоял на помазании рядом со своим папой, отцом Владимиром, держал в тонких пальцах блюдечко с елеем, Катя подходила помазываться, украдкой взглядывала на него, но он был замкнут и сосредоточен, молился? Глаза его были опущены вниз, а между чуть нахмуренных бровей лежала строгая вертикальная морщинка. Катя, отойдя на свое обычное место, растирая елейный крестик на лбу, благоговейно вздыхала.

До Олега нужно было дорасти, дотянуться, созреть, чтобы он ее принял. Он явно считал ее слишком легкомысленной, слишком несерьезной – это нужно было срочно исправлять. Однажды Олег увидел у нее на парте «Подростка», который в школьную программу не входил, и сказал, что Достоевский будит в человеке низменное, вызывает к жизни темные начала в душе каждого. Катя была удивлена – это ведь Толстой был еретик и предан анафеме, а Достоевский вроде как всегда считался христианским, но промолчала, и теперь оставляла на парте невзначай «Лествицу»: пусть Олег увидит, что она не светские книги читает, а растет духовно! Очередная светская книжка тем временем была надежно укрыта в сумке тетрадями – принести в жертву свое любимое занятие Катя пока была не в силах.

Но она все равно постоянно его не догоняла.

Чем больше она узнавала о нем, чем больше касалась его жизни, тем сильнее точил ее червячок собственной недостойности. «Куда ты, Катя?!» – говорил иногда внутренний голос, даже не говорил, а отчаянно кричал. Сколько бы она ни тянулась, было понятно – ей никогда до него не достать. Она знала прекрасно, что там, у «них», у тех, кто предстоит перед Престолом, неземных, особенных людей, свои порядки, они блюдут породу, тем более Олег был из семьи потомственных священников, прадед его был расстрелян на Бутовском полигоне. За Олегом были десятилетия служб, молитв, духовных подвигов, за ним стояли священники, целый сонм духоносных предков, традиция не прерывалась, за Катей – духовная пустота, одна только полуграмотная прабабушка ходила в церковь, но разве это было настоящее исповедничество, когда она прятала иконы в шкафу?

В начале первого курса Катя еще верила, что можно сохранить прежнюю жизнь, прежний уклад, в университете она теперь жила от выходных до выходных, всю неделю она носила светскую личину, но приходила долгожданная пятница и, возвращаясь вечером домой, Катя уже думала с замиранием сердца – завтра, завтра! Чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить, а потом – все думать, думать об одном… Теперь ей приходилось утешаться только тем, что она могла видеть его на службах в алтаре – пролетающего неземного прекрасного ангела, и даже «привет» не всегда удавалось ему сказать, хотя она специально поджидала его после службы, пыталась попасться ему на глаза, каждый раз ощущая острую боль – разочарования и собственной недостойности.

Но эти редкие встречи, эти краткие возвращения к прежней сладкой и уютной праведной жизни, ничего не давали ей, ничем не могли помочь. Было понятно – прежнее не вернется. Тем более что в марте, в начале второго семестра, Олег вдруг исчез.

Отцу Владимиру Благовольскому дали настоятельство в другом приходе, на дальнем конце Москвы, в новом микрорайоне – там даже метро не было, сорок минут на автобусе от конечной остановки. Был еще слух, странный, непонятно откуда взявшийся, что отец Владимир в чем-то не сошелся с отцом Митрофаном и потому так поспешно ушел. Что как будто бы тут замешан отец Ферапонт, старший брат отца Владимира, и, скорее, это отец Ферапонт в чем-то не сошелся с отцом Митрофаном. Про отца Ферапонта Благовольского Катя слышала давно – очень известный батюшка с большим приходом, потомственный священник, мудрый пастырь. Про него она в первый раз узнала от мамы, потом от Даши. На именинах у Даши Катя познакомилась с Машей из прихода отца Ферапонта, с его приходом был дружен приход отца Маврикия, какие-то у них были совместные проекты – общая гимназия, общий детский летний лагерь, общая певческая школа. Самого отца Ферапонта Катя видела несколько раз – он приезжал к отцу Митрофану, сослуживал ему, вроде бы они были дружны. А теперь?

Сначала в ней еще жило какое-то ожидание, казалось, случится что-то, и все изменится, может быть, даже завтра, но вдруг, словно вынырнув из сна, она понимала – не на что надеяться, ничего не будет, ты теперь живешь на другой планете – навсегда. Пять лет все будет одинаково: серый корпус Первого гума, черная решетка ограды, такая унылая на фоне грязно-белых сугробов, коричневое слякотное месиво, в котором она увязала ногами, так же точно увязали в ней мысли – серые, беспросветные, как эти скучные дни, совсем не похожие на весну.

Она стала много плакать, от какой-то безысходности и бессмыслицы. Однажды в гости приехала тетя, и, озадачившись Катиной слезливостью, посоветовала отправить ее к психологу. Но мама даже засмеялась – какой психолог для православных людей? Вечно ты со своими западными штучками! Отец Митрофан говорит, что психология – это лженаука, православному человеку помогает молитва, исповедь и причастие, да и вообще – отец Митрофан лучший психолог, к нему надо идти, он все сразу объяснит, а лучше, если настучит по голове – чтобы выбить всякую дурь.

Катя попыталась «выбить дурь» – рассказать на исповеди отцу Митрофану, что ей вот плохо как-то без причины, он ответил: «Причина твоя – вот тут», и легонько постучал ей пальцем в районе ключиц. Причина была тут – в душе, в сердце. Она это и сама знала, но что с этим делать – так и не поняла.

III

Проповедь закончилась, все начали потихоньку расходиться, в полутемном храме Юлия Львовна, учительница младших классов в гимназии, а на службах отвечающая за свечи, уже принялась орудовать возле подсвечников: гасила огарки и скидывала их в пластмассовое ведерко. Горела только лампочка в левом приделе, где был сделан скромный гардероб – отгороженная ширмой задняя стена, там на вбитых в стену крючках громоздились навешанные гигантскими гроздьями шубы и пальто. К гардеробу уже выстроился небольшой хвост очереди, но Катя туда не собиралась: куртку она не снимала, хотя в храме было даже жарко – просто иначе не скроешь джинсы.

Конечно, в джинсах (даже прикрытых до середины курткой) она в свой храм никогда не приходила, и в этот раз на всенощную зашла, в общем-то, случайно.

Возвращаясь из фундаменталки, она решила не садиться на «Охотном ряду», как обычно, а пройтись вверх по Тверской, заглянуть в книжный. По Тверской, как всегда, брели толпы народу, но в этот раз не сумрачного, укутанного, зимнего, больше было веселых, расслабленных, праздничных парочек – улыбающиеся довольные девушки бросали сочувственные и чуточку торжествующие взгляды на обгоняющих их угрюмых «одиночек», юноши смотрели немного смущенно и выглядели как-то пьяно: почти у всех расстегнутые куртки, сбитые на затылок шапки. Несмотря на мороз, все парочки шли без перчаток, чтобы держаться за руки, обнимались на ходу, несли розовые шарики-сердечки, цветы, оставляя после себя на грязной мостовой опавшие лепестки, обрывки потерянных «валентинок» и бумажных лент. Это был День святого Валентина, 14 февраля. Катя к нему относилась с легким презрением – какая-то глупая романтика – праздник ее не касался, но сейчас она жалела, что пошла по Тверской, ей почему-то стало не по себе посреди этого пьяно-влюбленного уличного шествия. И тут она увидела трех девочек: длинные юбки в пол, из-под которых выглядывали грубые ботинки с шерстяными носками,

строго повязанные платки, за плечами у каждой рюкзак. Девочки шли спокойно, не обращая внимания ни на кого, говорили о своем – серьезные лица, чистый спокойный взгляд.

«Наши» – отметила Катя, и вдруг поняла, что она-то про них может подумать «наши», «свои», «православные», а вот они про нее – нет. Они бы Катю никогда не признали «своей». Она даже не сразу нашла свое отражение в зеркальной витрине – ничем не отличимая от толпы – джинсы, куртка, шапка, шарф, сумка, полная, как обычно, книг. Она не хотела выделяться, она малодушно хотела быть «своей» для мирских – а они, эти девочки, не сливались, они исповедовали веру, они были настоящими христианками.

Совершенно незаметно она стала такой: свой среди чужих, чужой среди своих, где-то всё время между, на двух стульях, в зыбком, неуравновешенном пространстве, и ведь прошло всего-то ничего времени, второй год в университете, но система ее уже перемалывала – равнодушно и привычно, как перемолола, перекроила до нее еще тысячи студентов, так не сама ли она хотела приобщиться к «тайному знанию»?

В университете везде была жесткость и взрослость, во всем: в какой-то нарочитой безжалостности преподавателей, говоривших со вчерашними школьниками как будто на равных, в этом официальном «вы», в отсутствии свободного времени, в постоянном недосыпе, в том, что не было никому поблажек – тянись, тянись изо всех сил, сиди до закрытия в библиотеке и лингафонном кабинете, учи, слушай, записывай, ищи в толковых словарях незнакомые слова – войди в сень к небожителям или умри. Умирать она не хотела, вот и тянулась. Ей казалось, что у нее буквально хрустят кости и вытягиваются жилы, что она стремительно обрастает новыми привычками, инстинктами, уменьями, необходимыми для выживания здесь, новой какой-то, иной плотью. Здесь были уже не приходские учителя, а преподаватели, которых студенты называли по фамилии, а не по имени-отчеству – и они были разными, со своими странностями, со своими привычками, со своими взглядами, но все они, утратившие ореол безусловного учительского авторитета, тем не менее влияли на нее очень сильно, учили ее главному – open-minded. Open-minded – именно так, без перевода, отражало ее новое состояние наиболее точно: горизонты ширились, прежнее, закрепощенное какое-то мышление вдруг сломалось, границы его развалились под гнетом всего, что нужно было вместить.

Оказалось, например, что жития святых – это литература. Что чудеса в житиях, как и «особенное» детство святого – дань жанру, то есть, получалось, преподобный Сергий на самом деле мог и не отказываться в среду и пятницу от грудного молока? Что это, возможно, было выдумано, как и «обязательные» посмертные чудеса? Евангельские тексты вдруг становились «пучками аористов» и «ошибками писца», и их читали не стоя, благоговейно склонив голову, а на семинарах, буднично, зевая, томясь, поглядывая на часы, смеясь, иногда даже со стебом. Слава Богу, она хотя бы училась на русском отделении, а не на ромгерме, где еще и Библию преподавали, она уже примерно могла себе представить – как, и внутренне вздрагивала.

Святая Русь вдруг перестала быть Святой Русью, с тем православием, к которому нужно было стремиться, которое надо было возродить, с поголовно глубоко верующими людьми – Кате быстро стало понятно, что это просто сказка. Христианство так и не пустило в народе глубоких корней, смешалось с язычеством, вера народная вовсе не была той верой, «которую мы потеряли», и прекрасным доказательством тому являлся фольклор – все эти заговоры и заклинания, где Бог и святые выступали зачастую в роли оберегов, божеств, к которым нужно обращаться с ритуальными мольбами. Оказалось, что русская литература в целом не так нравственна, как хотелось бы, что Пушкин вообще читал порнографического Баркова, как и все его современники-мужчины, зато зарубежная литература оказалась вовсе не такой греховной, как раньше ей говорили, – там обнаружился, например, вполне христианский Диккенс, да и вся викторианская литература представлялась очень даже высоконравственной, с непременным торжеством добродетели и осуждением порока. Она привыкла думать, усвоила с детства, что революция 1917 года разрушила все – нравственность, веру, идеалы, монархию – основу православия, а тут вдруг оказалось, что и до семнадцатого года, даже и в монархические времена, все было вовсе не так идеально. Куда двигалась интеллигенция в начале двадцатого века? Не ко Христу, в большинстве своем. Семнадцатый год – она поняла это вдруг – не мог наступить сам собой, следствием одних лишь козней врагов православной России, нет, все вполне закономерно. Аргументы сыпались на нее, и нельзя было уже им сопротивляться, отметать их как происки «врагов православия»: Катя чувствовала правоту «светских», всех этих профессоров и докторов, и заблуждения «своих». Ведь именно «в православии» учили ее по-другому: православие – смысл, центр, точка, с которой все начиналось и в которую все возвращалось. Все хорошее было от православия, а все плохое рождалось от сопротивления ему. В православии – поняла она неожиданно – просто была идеология! На каждое явление уже был выработан правильный, нужный взгляд, другого мнения быть не может. И вдруг это оказалось

неправдой. Причем очевидной. Думать так, как она думала раньше, оказалось не то что ненаучно – даже смешно, ей раньше казалось – так считает образованное большинство, а вот нет! Она-то с таким образом мыслей и оказалась в меньшинстве. А в большинстве оказались не какие-то там грешные и глупые язычники, а серьезные, образованные, воспитанные, интеллигентные люди, преподаватели университета, и при этом – неправославные! История, литература, культура, да и сама жизнь оказались вдруг намного глубже, разнообразнее, сложнее и неоднозначнее, чем она себе представляла, живя в своем приходском мире. Перестройка на open-minded проходила болезненно, но быстро.

Еще вдруг оказалось, что она всю свою прежнюю жизнь прожила в вакууме. Она ничего не знала об этой жизни, в которую теперь окунулась, она не разбиралась ни в музыке, ни в кино, ни даже в живописи, хотя к живописи ее всегда тянуло, не знала никаких всем известных имен и людей, и теперь страшно мучилась. В школе, дома и в храме ее учили высокому, отец Митрофан даже так и говорил – зачем знать все это светское, наносное, к чему? Тешить гордыню своей образованностью? К чему вам, например, знать имена античных богов? Зачем вам это язычество? Что толку тратить время на эти глупости, когда нужно заниматься спасением души? Катя, пожалуй, могла растолковать любое место из Евангелия на выбор, знала наизусть утреннее и вечернее правило, а вот перечислить имена известных художников или музыкантов могла с трудом. Все ее воспитание было направлено на то, чтобы вырастить гражданина Неба, а не этой грешной земли, а она попала на землю – и надо было как-то выживать теперь и подстраиваться.

Иногда, вернувшись из университета домой, она садилась за письменный стол, сжав руками полную жужжащих мыслей голову, и ей неожиданно становилось страшно. Она как будто открыла калитку церковной ограды и сделала шаг вперед, кругом был туман, впереди ничего не видно, этот липкий густой туман лишал ее воли, она вступала в него маленькими шажочками, отходя от спасительной четко очерченной границы, от понятного, догматичного мира. Катя пыталась сопротивляться. Она оглядывалась на калитку в тумане – близка ли, тянулась и трогала ее рукой. Она говорила себе строго: ты вообще православная христианка или кто? Как ты пойдешь в храм после сорвавшегося слова «блин» или – Боже мой, неужели, Катя! – «хрен»? Что, если бы отец Митрофан увидел Катю здесь, на «сачке», под лестницей, в компании курящих подруг? Девочки иногда делились историями о мальчиках, с которыми некоторые уже спали, и всё это было при Кате, некурящей (пока что!), но уже молча слушающей, молча и покорно, как слушают соблазнителя, змия на древе. Само древо познания уже

окутывало ее ароматом своих яблок, пьянило, в тумане все было непонятно, размыто и искажено, казалось, вот-вот она откроет рот, откусит кусочек, а может, уже откусила, коснулась губами, выпила отравляющего сока? Ужасно было и то, что при этом Катя не пыталась отгородиться и спрятаться – она стеснялась открыто проповедовать свою веру, слишком радостно показывала «терпимость», слишком легко оправдывала «их», как будто из воина Христова превратилась в дипломата, пыталась договориться; нет, и дипломата из нее не получилось – она была дезертиром, сложила оружие и уходила с поля боя, поддавшись на щедрые посулы врагов, боясь пыток и мучений, языцы не разумели и не покорялись – это Катя покорялась им. Ей вдруг захотелось дружбы с «ними», мирскими, с этими девочками, которые ей нравились, ведь друзей-то по большому счету у нее давно не было. Все-таки правильно говорили приходские знакомые, что нечего делать в светском вузе православной девочке, которая хочет прожить жизнь в чистоте. Тем более такой девочке, как Катя, – плоду от зерна, упавшего на камень, ростку без корня, нетвердой и некрепкой в вере.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (http://www.litres.ru/nina-fedorova-3/uyti-po-vode/?lfrom=201227127) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

notes

Примечания

Купить: https://tellnovel.me/nina-fedorova/uyti-po-vode-kupit

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити